

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

---

Ефим Эткинд

### СОВЕТСКИЕ ТАБУ

Поколения советской интеллигенции привыкли жить в герметически замкнутом мире, в который почти не проникали иностранные влияния. Западно-русская, эмигрантская литература нескольких десятилетий для России почти не существовала. Советско-русские писатели и исследователи ничего не знали о творчестве их собратьев, преданных официальной анафеме; не только ссылки на кого-нибудь из них, но даже упоминание их имен грозили катастрофой, были не просто опасны, но в известный период смертельны. Из тех литературоведов и критиков, историков и теоретиков, кто работал на Западе, назову хотя бы Романа Якобсона, Д. Чижевского, Исая Берлина, Вл. Маркова, В. Вейдле, К. Мочульского, Глеба Струве, Б. Филиппова, Ю. Иваска, В. Ходасевича. . В сущности, писать о Маяковском и Хлебникове, минуя Р. Якобсона, нельзя, как нельзя игнорировать книги Вл. Маркова о русском футуризме и поэмах Хлебникова, исследования К. Мочульского о символизме и специально о Вл. Соловьеве, В. Брюсове, А. Блоке, пушкинские штудии Ходасевича, поэтологию

К Тарановского, статьи М. Цветаевой о Пастернаке и Маяковском, собрания сочинений Гумилева и Ахматовой, Пастернака и Клюева, изданные в США стараниями Гл Струве и его сотрудников, сборники прозы Цветаевой, культуроведческие сочинения П. Милюкова и многое другое. Я говорю об этом, потому что игнорирование научных и критических работ западно-русских авторов носит характер особенно абсурдный и очевидный. Дело ведь не в предмете изучения — советские авторы занимались и Брюсовым, и Блоком, и Маяковским. Но имя К Мочульского было запретным именно как имя; никого не интересовало содержание его книг. Длительное время имя Р. Якобсона было "неназываемым" — он пробил блокаду своими лингвистическими работами, и так все же возвратился; на его книгу "Новейшая русская поэзия" (о Хлебникове) до сих пор смотрят косо, не говоря уже о статье, посвященной "Поколению, растратившему своих поэтов". Особенно интересна судьба собраний сочинений русских поэтов, они как бы не существуют.

В серии "Библиотека поэта" в разные годы появлялись собрания стихотворений О Мандельштама, С Черного, Б Пастернака, М Цветаевой, и каждое из этих изданий игнорирует своих западных предшественников. Игнорирование это особенно поразительно потому, что "Библиотека поэта" — и, в частности, "большая серия" — претендует на научность. Но вот уже в 1965 году выходит собрание поэтических произведений Пастернака, — здесь примечаний и вариантов много, они занимают более 150 страниц мелкого шрифта; автор примечаний — компетентный исследователь поэзии и сам поэт Лев Озеров. В примечаниях к циклу "Стихи из романа" (1943-1956) говорится по поводу стихотворения "Объяснение" "Печ впервые" "Осень" "Печ впервые". "Сказка" "Печ впервые" "Земля" "Печ впервые". Выходит, что из шестнадцати стихотворений цикла четыре "Печ впервые" — четверть! Вот какую ценность представляет том "Библиотеки поэта" — он прямо-таки открывает нового поэта! Между тем это ложь, — даже четыре лжи. Роман Пастернака "Доктор Живаго" появился в Милане в издательстве Джанджакомо Фельтринелли в ноябре 1957 года "Объяснение" там напечатано под

номером 6, "Осень" — 12, "Сказка" — 13, "Земля" — 21. А всего в цикле "Из романа" оказывается 25 стихотворений. Кстати сказать, из них в Советском Союзе до сих пор не опубликовано шесть. Что же это значит — "Печ. впервые", если те же вещи уже были изданы на 8 лет раньше?

Мы — в самой сердцевине навязываемой советским людям идеологии. Смысл ее можно формулировать так то, чего мы видеть не хотим, не существует. То, чего мы не признали официально, — призрак, фантом, небытие. То, чего мы не называем, утрачивает реальность.

В самом деле, примечание "печ. впервые" со всей категоричностью и непрекаемостью высокой академической науки провозглашает: никакого Фельтринелли на свете нет и не было, никакая книга в Милане не выходила, все это вздор и антисоветчина.

Ну, а если показать издателю "Библиотеки поэта" миланское издание Пастернака 1957 года, где содержатся все поименованные стихи? Что он скажет? А вот что — "Уберите эту книжку, она меня не интересует. Появилась она незаконно, советский читатель к ней доступа не имеет, зачем ее называть? На самом деле ее нет. Она существует, но как бы и не существует". Потом он, помолчав, добавит: "К тому же ваше обращение ко мне — провокация. Вы отлично знаете, что упоминать иностранные издания на русском языке запрещено цензурой".

Это верно. Упоминать нельзя. Нельзя было в 1965 году, когда вышел Пастернак, нельзя было и в 1977 году, когда в "малой серии" появился Клюев. В этой книжке, которую выпустили В. Г. Базанов и Л. К. Швецова, есть список "Основные издания стихотворений Н. А. Клюева" — и перечислено четыре названия, из них последнее относится к 1928 году. А больше не было ничего? Видимо, ничего. Ну, а вот всего за 8 лет до "малой серии", в 1969 г., в издательстве Нейманиса вышел двухтомный Клюев (в целом на 1000 страниц, тогда как в советском издании 1977 года страниц всего 500, и они половинные) под редакцией Глеба Струве и Б. Филиппова. Так что, не было двухтомника? Он — призрак? Не появлялся? А если еще добавить, что за 15 лет до того, в 1954, в Нью-Йорке, в издательстве им. Чехова, вышло "Полное собрание сочинений" Клюева, тоже в

двух томах? В сущности, можно сказать, что стараниями американского ученого Гордона Мак-Вэя были обнаружены важные рукописи Клюева в архивах СССР. Что же, и Мак-Вэй не было? Может быть, не было и самого Клюева?

Вот мы и подошли к главному вопросу. Не было никакого Клюева. Не было — до того дня, когда почему-то ему *позволили быть*, и он — в 1977 году — появился и стал *быть*. А пока не позволяли, его не было. Не то, что бы он был плохой или проклятый, а просто его на свете никогда не существовало. Не было поэта Николая Клюева, который, как сказано в советском издании 1977 года, "восторженно встретил Октябрьскую революцию, но проявил недопонимание ее движущих сил и общественных задач. . ." Так и сказано, как будто в пародии "проявил недопонимание". Не было собраний его произведений — ни американского, 1954 года, ни немецкого, 1969 года.

В советском обществе господствует магия. Одним из главных магических законов является *закон неназывания*. Ибо стоит назвать черта — он тут как тут. Фаусту, чтобы вызвать Мефистофеля, достаточно было произнести заклинание. Чтобы сатана не появлялся, достаточно запретить произнесение его имени. Одно из главных табу, установленных издавна в советском государстве, — табу на имена. Запрет на сатанинское имя Троцкого распространился на всех Троцких, а заодно и на всех Бронштейнов. Гражданская казнь Хрущева, осуществленная в октябре 1964 года, заключалась в запрете на его имя. Вместо имени "Хрущев" говорили "волюнтаризм", террор свирепствовал не при Сталине, а "во времена культа личности".

В пособиях по русской литературе XX века были намеренно преданы забвению имена арестованных и погубленных — Мандельштама, Пильняка, Ив. Катаева, Бабеля, а также имена всех эмигрантов. Не было таких авторов, как Мережковский, Алданов, Ремизов, Бунин, Замятин, Г. Иванов, М. Цветаева, Ходасевич, Зайцев, Шмелев, С. Черный, Агнiewicz, З. Гиппиус. Постепенно одно за другим названные имена стали просачиваться в СССР, материализоваться в книгах, а порой и в собраниях сочинений сперва Бунина, потом Цветаева, потом Саша Черный, потом Ремизов, потом Замятин. . . Возрождение имен, авторов и книг



происходило медленно и на основании случайностей, чаще всего благодаря личному заступничеству Сашу Черного вернул в Россию К.И. Чуковский, Бунина – Твардовский, М. Цветаеву – Эренбург. Одновременно стал происходить процесс обратный. другие имена стали исчезать из обращения, на них наложилось табу. Таковы имена А. Солженицына, А. Синявского, В. Некрасова, Н. Коржавина, В. Максимова, А. Гладилина, позднее Вл. Войновича, Г. Владимова, Вл. Корнилова. Табу заходит далеко на фотографии изображена маленькая девочка, и в подписи нельзя упомянуть, что это – пятилетняя Лида Чуковская, хотя в ту пору, около 70-ти лет назад, она еще не написала преступных книг о своих беседах с Анной Ахматовой. О Викторе Некрасове в 5 томе КЛЭ имеется большая статья А. Нинова с портретом и обширной библиографией, то было в 1968 году. Но 10 лет спустя вышел дополнительный том КЛЭ, 9-ый, где имеется алфавитный указатель ко всем томам; в указателе В.П. Некрасов просто не существует, – его однофамильцы сохранились, сам он испарился. Хотя из приличия оставили бы, ну, прибавили бы что-нибудь злое. Нет, выкинули. Как говорят в очередях "Вас тут не стояло" Не было тут вас.

Табу на имя – удивительное для цивилизованного общества явление. Оно свидетельствует о первобытности мышления наших руководителей.

\* \* \*

*Табу на имя* – лишь одно из магических умолчаний, свойственных советской культуре и приравнивающих эту культуру к первобытному варварству. Время от времени, со всей осторожной постепенностью, запретные имена начинают проникать в книги и обиход. Если говорить, например, о поэтах, то последовательность обычно такая: сначала имя, недавно проклятое, мелькнет в обзорной статье журнала "Вопросы литературы", затем в том же журнале появится специальная статья об этом имя-реке, затем выйдет в свет томик избранных его стихов в малой серии "Библиотеки поэта", ну и, наконец, апофеоз – большая серия той же "Библиотеки поэта". Гумилев пока что мелькал в об-

зорных статьях, С Клычков тоже, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин и Николай Клюев добрались до томика в "малой серии", а уж Федор Сологуб, Марина Цветаева, Константин Бальмонт красуются в виде синих томов "большой серии". Разумеется, каждый возрождаемый добирается до синей серии не без потерь; так, по пути от обзорной статьи через персональную к тому же "малой серии" М Волошин утратил лучшие свои стихотворения "На дне преисподней" (*С каждым днем все диче и все глуше*) и "Северовосток" Умолчания, на каковые соглашаются все участники игры, общеобязательны. В сборники стихов Пастернака входит загадочный цикл "Стихи из романа" – называть "Доктора Живаго" запрещено, никакого романа нет, есть только стихи из него. Среди стихотворений Мандельштама нет стихов, которые заклеили Сталина убийцей, – погубивших поэта, однако нет и оды Сталину, которой он надеялся спастись; ни за, ни против нет, потому что упоминать бывшего корифея запрещено. Среди поэм Анны Ахматовой нет "Реквиема" – запрещено упоминать о том, что принято называть репрессиями.

Жизнь советской интеллигенции опутана сетью таких магических "умолчаний"; всякого рода табу здесь больше, чем в любом примитивном обществе, где табу определяют жизнедеятельность и мышление людей. Правда, они носят характер особый, и вот некоторые свойственные им черты

– они, эти табу, не кодифицированы. Все им подчиняются, хотя они *не записаны*. Никогда нигде не значилось, что имя Троцкого, потом Сталина, потом Хрущева нельзя произносить: это определялось само;

– они *скользящие* и зависят от вкусов, темперамента и тактики последнего "хозяина"; при этом самое существование принципа табу обладает абсолютной стабильностью, скользят лишь те или другие конкретные формы их осуществления,

– они обладают способностью складываться в систему, но система не окончательна, – она меняется, едва лишь меняется обстановка.

Каковы же главные факты человеческого бытия, на которые более или менее стабильно наложено табу? Пере-

числу некоторые из них, отнюдь не намереваясь исчерпать список.

(1) *Табу на иррациональное* К этой категории относится все то, что по каким-либо причинам не получило или не может получить простого материалистического объяснения. Недолгое время в советских университетах (во всяком случае, в ленинградском) изучали парапсихологические явления, потом соответствующую кафедру закрыли — хотя эксперименты, которые ставил проф. Л. Васильев, казались убедительными. Стихотворение А. Блока "Есть игра осторожно войти. . ." перепечатывается в изданиях Блока, который считается классиком, но трудно представить себе нечто сходное по теме в советской литературе; между тем Блок размышляет о факте, который известен многим, — человек спиной чувствует взгляд, на него направленный.

Есть дурной и хороший есть глаз,  
Только лучше б ничей не следил  
Слишком много есть в каждом из нас  
Неизвестных, играющих сил . .

Эти "неизвестные силы", необъясненные и может быть даже необъяснимые, подозрительны. Лучше их обходить молчаливым. Если их не называть, их как бы и нет. Так спокойнее.

Наверно, одна из причин многолетнего — в течение 25 лет — цензурного запрета романа Булгакова "Мастер и Маргарита" — иррациональность многих эпизодов. Это только советский функционер Берлиоз думает, что он все знает и понимает; того, что Аннушка уже пролила подсолнечное масло, в котором он поскользнется, чтобы упасть под колеса трамвая, — он не знает.

Во время войны нашлись ретивые охранители, осуждавшие даже К. Симонова за стихотворение "Жди меня". Как же это так — "Жди меня, и я вернусь, только очень жди. . ." ? Можно ли передать мысль на расстоянии и уберечь солдата от гибели одним ожиданием? Ретивых одернули, во время войны даже иррациональность была полезна, если укрепляла боевой дух, даже религия, представляющая собою второе из главных

(2) *табу· религия*. В течение многих лет как иудаизм, так и христианство и ислам были под запретом. В шестидесятых годах я выпустил двумя изданиями в "Просвещении" учебную книгу "Семинарий по французской стилистике", где среди прочих разобралось стихотворение Альфреда де Виньи "Масличная гора"; это — евангельский эпизод моления о чаше в Гефсиманском саду, впрочем трактованный Виньи в анти-евангельском духе. Иисус напрасно молит Отца — "да минует меня чаша сия", ибо небеса пусты и моления его никто не слышит. Из комментирующего текста были убраны все уломинания Евангелия, автору было сказано, что это запрещено. В романах, поэмах, особенно пьесах цензура настойчиво снимала церковные или просто религиозные пассажи. Новые переводы библейских "Песни Песней" и "Книги Иова" могли увидеть свет лишь после многолетних мучительных усилий, да и то в составе сборника "Поэзия Древнего Востока" — среди стихотворений светских, как бы лишенные своего священного характера. Библейские и евангельские сюжеты иногда рассказывались читателям, но в сочинениях сатирических или уж в книгах, посвященных критике Библии с атеистических позиций. Даже в сборниках пушкинских произведений прежде всего опускались такие стихотворения, как созданное в 1836 году подражание молитве Ефрема Сирина

.. Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.  
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья. . .

Например, в довольно полном собрании пушкинских поэтических произведений в "Библиотеке поэта" (малая серия) это — единственное из зрелых стихотворений Пушкина, которое пропущено. Всякий евангельский образ обычно сопровождался разоблачительно-антирелигиозным комментарием. Запрет на переиздание сочинений Достоевского, державшийся долго, связан с этим табу на религию.

(3) *Табу на отклонения от нормы*. В советском обществе издавна определены социально-нравственные нормы поведения; отклонения от таковых не только осуждаются

(что было бы недостаточно радикальным решением), но и умолчанием обрекаются так сказать на небытие. Среди русских писателей иные страдали тяжелым алкоголизмом, — об этом почти нет упоминаний в биографиях Полежаева, Фофанова, Куприна, Есенина, Светлова, Смелякова, Фадеева, Твардовского. Кто отважится рассказать открыто о пьянстве Мусоргского или, тем более, о противоестественных наклонностях Чайковского? Когда-то, в 1923 году, Петр Губер написал книгу "Дон-Жуанский список Пушкина", — здесь название сенсационнее содержания, как бы то ни было, советское пушкиноведение к губернской теме возвращаться избегало. Заслуг этой замечательной отрасли филологии отрицать невозможно, но кто из исследователей личности Пушкина позволил себе серьезно рассмотреть свидетельства о нем С. Комовского — о болезненном женолюбии подростка Пушкина, или М. Корфа — о, как пишет Корф, "частых гнусных болезнях, низводивших его на край могилы"? Возможно, они оба были неправы — но показания этих современников даже не рассматривались — табу! Так биографы проходят мимо связи Пушкина с крепостной девушкой, о беременности которой он сам писал Вяземскому "При сем с отеческой нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютки, если то будет мальчик. Отсылать его в воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню. . ." И это пишет Пушкин, воплощенная честь, это Пушкину принадлежит постыдная оговорка "если то будет мальчик"! Но такого Пушкина не было, потому что быть не могло. Как не могло быть отклонений от высокой семейной нравственности у Горького, как не было ни темных мест, ни трудностей в домашних делах Маяковского. Я не сторонник копания в интимных тайнах великих людей. Но закрывать глаза на их подлинный облик — трусливо. Впрочем, данное табу — на отклонение от нормы — тесно связано с господствующей официальной идеологией в СССР — все вожди — красавцы и мудрецы, среди них не может быть ни рябых сластолюбцев, ни безграмотных скомоухов, ни косноязычных тупиц. По табели о рангах, обязательной в Советском Союзе, — знаменитые писатели приравнены к вождям (а вожди, порою, к писателям).

(4) *Табу на отклонения от социально-языковой нормы* Это табу отличается особой устойчивостью, тем более, что оно связано с давней национальной традицией. Однако в советское время запреты стали категоричнее — на слова, обозначающие "неназываемые" органы тела, физиологические акты и отправления или на бранные обороты, широко используемые в просторечьи. Эти запреты настолько глубоко укоренились, что распространяются даже на тексты, получившие по какой-либо случайности высочайшее одобрение и, так сказать, санктификацию. После резолюции Сталина насчет Маяковского, "лучшего и талантливейшего", стихи и поэмы его стали неприкасаемы: еще бы, "поэт революции" или, скажем точнее, "поэт резолюции"! Но даже в священных текстах Маяковского нельзя было терпеть нарушения табу.

Уважаемые товарищи потомки,  
Роясь в сегодняшнем окаменевшем. .

Нет сомнения, какое должно быть слово, — тем более, что оно рифмуется со словом *мне*. Но во всех массовых изданиях сочинений Маяковского напечатано. *дерьме* И слово скверное, не вяжущееся с определением *окаменевшем*, и рифма убогая. Но иначе нельзя: запрет!

Еще более веский пример — блестящие строки из его же парижского цикла:

Бумаги  
        гладь  
                облевывая  
пером,  
        концом губы —  
поэт,  
        как *рвань* рублевая,  
живет  
        с словцом любим.

Так и напечатано всюду — *рвань рублевая*, хотя словосочетание *гладь облевывая* требует иной рифмы: это тот случай, когда Маяковский рифмует не последние звуки строк, а целиком обе строки

Гладь облевывая. . .  
Блядь рублевая. . .

Маяковский богат, и от него, казалось бы, не убудет, если лишить его рифмы. А все же это грабеж. ведь не просто рифму отняли у Маяковского, а все четверостишие, и, значит, целое стихотворение, в котором эти строки — центр.

Таких случаев немало. Пример Маяковского особенно показателен потому, что сам Сталин грозно заявил: " . неуважение к его памяти — преступление", и, значит, его "темы, рифмы, дикция, бас" были неосторожно объявлены партийно-государственным достоянием. Табу на "нецензурные" слова и выражения распространили и на Пушкина, и на Лермонтова, и на Некрасова, и, конечно, на Есенина, — с прозаиками же дело куда проще, поскольку ни размер, ни рифма не являются препятствием. Даже в десятитомнике Академии Наук в одном из стихотворений юноши Пушкина читаем строки, укороченные на рифмующие слова

"Признаюсь перед всей Европой,  
Хромоногая кричит —  
Маврогений . . . .  
Душу, сердце мне томит  
Муж! вотще карманы грузно  
Ты набил в семье моей  
И вотще ты пятишь гузно,  
Маврогений мне милей" (т II, стр 86).

Гузно — можно, а на его синоним наложено табу. Кстати заметим, что освобождение от подобного рода табу влечет за собой (в эмиграции) безудержный поток уже просто безудержного сквернословия оно кажется осуществлением писательской свободы, хотя там, где "грязная лексика" не вызвана художественной необходимостью, она — не столько завоевание свободы, сколько дерзкий бунт привыкшего к несвободе автора

(5) *Табу на национально-языковую норму* В двадцатые годы советские писатели с жадностью обратились к открывшимся им новым пластам русского языка, и в лите-

ратуру хлынули так называемые диалектизмы. Сочно-выразительными словами псковичан, вологодских, рязанских или ростовских жителей запестрели страницы Пильника, Панферова, Шолохова, Артема Веселого, Вс. Иванова, то была радость открытий, пьянящий языковый хаос, обнаруженный Революцией. Эти "географические" открытия соответствовали социальным (жаргонным) к той же поре ранних, двадцатых годов относятся обнаружение И Огневым языка школьников, М. Зощенко — советских обывателей, И Бабелем — одесских биндюжников и налетчиков. Открытие исторических пластов языка, например, Ю. Тыняновым или Чапыгиным относится к той же эпохе

Вскоре, — в начале и середине тридцатых годов, оказалось, что эти нововведения слишком отклоняют язык от нормы, принятой и привычной. Оформлялась империя, главный же закон империи — уничтожение центробежных сил. Носителем имперской идеи в языке оказался М. Горький. Он бескомпромиссно осуждал такие слова, как "хрындуй" или "дефти" (девки), потому что "литератор должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски" (Письма начинающим литераторам), он резко обрывал несогласных. "Мало ли что и мало ли как говорят в нашей огромной стране — литератор должен уметь отобрать для работы изображения словом наиболее живучие, четкие, простые и ясные слова" (По поводу одной полемики, 1932). Осуждал, например, Ильенкова, не щадя бранных слов "Взбрыкнул, трушились, встопоршил, грякнул, буруздил" . . . все это даже не мякина, не солома, а вредный сорняк. . ." "Щегольство бедняков" — так называл Горький увлечение диалектами и требовал от редакторов — "безжалостно воевать" против этого. И довоевались, и вполне безжалостно и Шолохов, и Панферов послушно убрали свои "этнографизмы", — после этой очистки у Панферова, например, просто не осталось ничего.

Очищенный *имперский язык* утвердился надолго, и только в шестидесятых годах возродились былые увлечения областными речениями — с реабилитацией и возвращением в литературу уничтоженных писателей 20-х годов и с появлением таких новых авторов, как А. Солженицын. В "Случае на станции Кречетовка" читаем: "И



теперь со станции, где холодный ветер нес *перемесь* дождя и снега, где изнывали эшелоны, *безутолку толпошились* днем и на черных полах *распологом* спали ночью люди, — как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье?” Четыре слова — *перемесь*, *безутолку*, *толпошились* и *распологом* — диалектизмы, принадлежащие к четырем р а з н ы м областям и здесь “перемесь” языковых слоев изображает “перемесь” людей в войну.

В тридцатых годах Горький призывал “безжалостно воевать” против “щегольства бедняков”. Солженицын, который, едва появившись, нарушил немало разных табу, и здесь преступил — на сей раз: запрет на диалекты.

(б) *Табу на кощунство* касается всего, что в советской империи официально рассматривается как священное. К таким святыням относятся:

- вожди коммунистического движения и партии (не только Маркс, Энгельс, Ленин, но — вопреки усилиям Хрущева, и Сталин, а также, разумеется, Брежнев);
- классики русской науки и литературы;
- национальные монументы и символы, к каковым относятся мавзолеи, знамена, эмблемы, статуи и портреты вождей

Это табу — очень далеко идущее. С ним связано, например, полное отсутствие информации о частной жизни вождей; любую деталь их личного быта можно истолковать как нарушение табу на кощунство. Что было известно о Сталине? Что он курил табак из папирос “Герцеговина Флор” и предпочитал всем винам “Киндзмараули”. О других мы и того не знаем. Как уже говорилось, деятели русской науки и культуры приравнивались к вождям — их тоже лучше было не трогать кощунственно. Поэтому, например, при публикации переписки Н. Лескова были опущены его бранные письма к сыну Андрею: что ж это за русский классик, если он так ругает собственного сына? если он несправедлив и зол? как же брать с него пример? Когда-то Ал. Тихонов в своих воспоминаниях привел неодобрительную оценку Чеховым романа Горького “Фома Гордеев”. “Это не роман, а оглобля” — сказал Чехов. Ал. Тихонова критики измордовали: ну, мог ли один русский клас-

сик кощунственно высказаться о другом классике? Так что табу подобного типа распространялось не только на самого говорящего, но и на "переданную речь" — не смей вспоминать того, чего не было, потому что быть не могло!

(7) *Табу на физиологию* распространяется на большинство отравлений и функций тела. В романах социалистического реализма кочетовского типа герои, если и едят, то в самой общей форме; во всяком случае, удовольствия от еды не получают. Часто пьют, но уж о закуске авторы стараются умолчать. Почти не болеют, а если это случается, то подробностей авторы не сообщают. Вполне закономерно, что в советских официальных некрологах причины смерти подернуты мраком: "после продолжительной (непродолжительной) тяжелой болезни..." — какой? Читатель газеты этого не узнает. От него скрывают болезнь так, будто слова "рак", "инсульт", "туберкулез" непристойны. Полтора столетия назад маркиз де Кюстин в своих впечатлениях о поездке по России 1839 года с недоумением замечал, что в России никогда ничего не происходит; кажется, писал он, что правительство и лично царь считают себя ответственными за землетрясения, наводнения и пожары и потому предпочитают умалчивать даже о стихийных бедствиях, не говоря уж об эпидемиях. Все это советский режим унаследовал; до сих пор, если судить по прессе, в СССР ничего не происходит: ни землетрясений, ни железнодорожных крушений, ни авиационных катастроф. О бедах сообщают лишь в тех редких случаях, когда уж нельзя никак о них умолчать, то есть, когда Запад узнал из собственных источников и сообщил по радио. То же касается забастовок или иных стычек населения с властями. Однако наиболее наглядным из нескольких запретов такого рода оказывается табу на физиологию: герои советских романов — особенно в тридцатые-пятидесятые годы — не спали со своими возлюбленными, не отправляли физических нужд, почти не ели, не болели, а если появлялись дети, то как бы падали с неба. Табу на физиологию преступил тоже А. Солженицын — в повести "Раковый корпус"; недаром кое-кто из выступавших на ее обсуждении в Союзе писателей (ноябрь 1966 г.) испуганно твердил, что повесть загоняет читателя в палату раковых больных, что каждый

начинает находить в самом себе симптомы рака, "прислушиваться к болям и рассматривать какие-то бугорки", и что толстовскую "Смерть Ивана Ильича" еще читать можно, потому что там умирает один человек, а "Раковый корпус" невыносим — здесь болеют, заживо гниют и умирают двадцать шесть. Но одна из выступавших, Любовь Кабо, сказала: "Тебя вводят в мир страданий, в мир смерти, в мир какой-то физиологической обнаженности. И у тебя внутри все протестует не хочу, чтобы меня мучили. Но вдруг на какой-то странице происходит чудо, наступает взрыв, наступает то, чего ждешь в данную минуту меньше всего: необычайное просветление. Начинаешь видеть во всем выражение человеческого духа и всего того, что мы называем человечностью. . ." Это и есть наиболее убедительное опровержение этого табу на физиологию — одного из самых вредных и даже губительных для искусства. Ведь оно и привело к тому, что литература стала создаваться евнухами, что в живописи обнажены только спортсмены в плавках, что читатели разучились читать о муках тела и его радостях и ждут книг с жизнерадостными поучениями и оптимистическим примером

(8) *Табу на социальные конфликты* относится к другому уровню литературы и вообще культуры, более глубинному; оно ведет к искаженному представлению об обществе в целом, или, точнее, к подмене реального иным, искусственно сконструированным. Перед нами вместо общества — макет Советское общество раздираемо еленическими противоречиями, которые ничуть не менее действительны от того, что они непознаны и литературой не изображены. В этой области управляет тот же психологический закон, который определяет все выявленные выше табу: властители верят, что противоречия, которые не названы и не показаны, тем самым не существуют. Их можно игнорировать, и даже можно карать как клеветников тех, кто вздумает на них ссылаться. В разные периоды нашей истории преобладали один или несколько конфликтов:

1) — между государством-монополистом, владельцем средств производства, единственным работодателем и эксплуатируемыми им трудящимися;

2) — между господствующей нацией и угнетенными малыми народностями,

3) — между чиновниками, образующими "номенклатуру", то есть, господствующий класс СССР, и творческой интеллигенцией,

4) — между постоянно возрастающим спросом и столь же постоянно снижающимся предложением (этот удивительный по своей парадоксальности конфликт все более приобретает черты постоянно действующего закона: с одной стороны, спрос на товары легкой промышленности, на автомобили, индивидуальные дома и бытовую электротехнику растет в связи с накоплением у людей денег и под влиянием Запада, создавшего вакханалию потребления; с другой стороны, предложение все сокращается, потому что военные расходы становятся все грандиознее, а сельское хозяйство все слабее и беспомощнее);

5) — между привилегированной элитой, так называемой "советской аристократией", и обыкновенными гражданами, которые не пользуются закрытыми распределителями продуктов, специальными магазинами, поликлиниками и больницами, особыми школами, домами отдыха и "творчества", дворцами-санаториями и т.п. ,

6) — между привилегированными городами, как Москва, Ленинград, Киев и Ташкент, и другими, которые не имеют "улучшенного снабжения" и питаются только за счет безудержно дорожающего рынка;

7) — между городом и деревней; этот конфликт в последнее время тоже обострился и приобрел парадоксальный характер. крестьяне всеми правдами и неправдами стремятся уйти на работу в более сытный, благоустроенный и привлекательный город, а городские жители, какое бы жалование они ни получали, вынуждены брать на себя деревенскую работу — например, собирать урожай картофеля или хлопка (все это получило яркое выражение в частушке — "Мы с миленьчком гуляли / От утра и до утра, / А картошку нам копали / Из Москвы инженера" — с вариантом "профессора" или "Из Рязани доктора");

8) — между динамикой производительных сил и косностью социальных и экономических структур, которые с годами все более каменеют;

9) — между декорацией, создаваемой могущественными и всепроникающими органами пропаганды, и подлинным обществом, которое с этой декорацией не имеет ничего общего; тот же конфликт можно определить как противоречие между псевдосоциалистической фразеологией и советской действительностью; одну из первых попыток обнаружить его в литературе предпринял Александр Яшин в рассказе "Рычаги" (1956), — что с ним за это сделали, у всех на памяти.

На все перечисленные конфликты в советской литературе наложено табу. Случается, что в роман, пьесу, фильм проникает один из них, в отрыве от других, в таких случаях и власти, и либеральная интеллигенция торжествуют *новое слово!* Это хорошо и приятно сознавать, что произнесено "новое слово", но ведь показать по-настоящему советское общество можно, лишь соединив все перечисленные конфликты в единое целое, в реальном обществе они друг от друга не изолированы. Вот роман, который помог бы нам понять самих себя, а значит помог бы нам жить. Но нет его — да и когда он родится? В С. Гроссмана, который был бы способен на такой подвиг, погубили — он умер от рака в 1964 году. А.И. Солженицын ушел в историю и занят обличением сатанинского российского либерализма, породившего безбожную революцию. Литература же, отвечающая нормам соцреализма, ловко подставляет на место реальных конфликтов выдуманные, к таковым относятся воображаемые противоречия

1) — между инженером-новатором и директором-ретроградом. (Это заменяет конфликт между динамикой живого производства и живой мысли и каменеющими структурами советской государственной машины);

2) — между интеллигентом-изменником, продавшимся Западу или сионизму, и честным тружеником из рабочего класса;

3) — между нерадивыми рабочими, склонными к тушеждению, и сознательными строителями коммунизма

Все эти и им подобные искусственно сконструированные безобидные конфликты призваны стать на место тех,

других, которые нельзя не только художественными средствами выявлять, но даже и вообще упоминать. Табу распространяется, таким образом, даже на их название. Но наиболее полное табу наложено на их совокупное рассмотрение. В конце концов, каждый из этих конфликтов по отдельности еще мог вылезти — то в фильме Шукшина, то в прозе Аксенова, то в пьесе Вампилова, то в поэме Твардовского. Но в своей совокупности они ждут художника великой смелости, который опрокинет все табу сразу и создаст панораму советского общества последних десятилетий с такой же убедительной беспощадностью, с какой В. Гроссман представил в романе "Жизнь и судьба" советское общество военной поры, а Солженицын изобразил Архипелаг ГУЛаг.

